

Путешествие в великое никуда

— Евгений Борисович, здравствуйте. Мы хотели бы вместе с вами вспомнить печальное событие, случившееся пять лет назад, — смерть Иосифа Бродского.

— Как всякое несчастье, оно пришло внезапно. Я во время новогодних праздников говорил с Иосифом по телефону и собирался через месяц-полтора поехать в Америку по всяким обстоятельствам. И ничего страшного не ожидал. Сидел дома за чаем, когда мне позвонил поэт Сергей Гандлевский, услышавший по радио эту горестную весть.

Я был совершенно сражен. Хотя, в общем, я знал, что у Иосифа нелады с сердцем. И когда мы вместе были в Венеции и снимали там фильм («Прогулки с Бродским». — *Прим. ред.*), я уже видел, что ему тяжело, что он очень часто принимает валокордин.

Прямо с аэродрома мы отправились в похоронное бюро Гринвич Виллидж — это такой район Нью-Йорка, — и я увидел мертвого Иосифа. Что еще можно сказать? Я понял, что кончилась целая эпоха — моей жизни и жизни нашей поэзии.

Потом было отпевание, и его положили на кладбище Тринити на берегу Гудзона. Хотя вопрос, где он будет похоронен, не был решен. Сам он не оставил никакого распоряжения. Жена его Мария, по некоторым обстоятельствам, может быть, весьма уважительным, не хотела, чтобы он был похоронен в России. Она наполовину Барятинская, из этой знаменитой дворянской семьи, и у них там какие-то свои счеты с Россией — но я в это дело не вмешиваюсь.

А в это время мэр Венеции предложил похоронить Иосифа в Венеции. Иосиф очень любил Венецию, жил там 20 лет подряд, каждую осень. Венеция — это не просто какой-то город, это такое

как бы *великое никуда, великое ничто*. Там очень многие русские похоронены: Стравинский, Дягилев.

— Вы сказали: увидели его в гробу и поняли, что кончилась целая эпоха. Какая это была эпоха?

— Я полагаю, что это была эпоха великой традиции, которая началась еще в XVIII веке, которая проходила через наших великих поэтов — Жуковского, Батюшкова, Пушкина. Потом к Некрасову перешла. Потом к символистам. Потом к Маяковскому, Хлебникову, К Ахматовой. И Иосиф был *законным звеном* этой традиции. Он одновременно был новатором и архаистом. Он сосредоточил в себе память о многих явлениях нашей поэзии. С его смертью эта цепь оборвалась. Теперь уже ничего подобного нету.

— Что вам в нем было более всего дорого как в человеке?

— Его понимание, отзывчивость. Он однажды написал о себе: «Я любил немногих. Однако сильно», и это абсолютная правда. Мы с ним познакомились, когда были совсем молодыми людьми: ему было лет 17, мне — 20. Но потом прошли большие времена, он уехал в эмиграцию, я 16 лет его не видел. И вот в 1988 году я приехал в Америку, это была по сути моя первая поездка на Запад. Я был растерян: английский знаю довольно посредственно. И он принял во всем необыкновенное участие: он ездил вместе со мной в далекие университеты, вставал для этого в четыре утра, ложась в два ночи. И таких трогательных поступков было невероятно много. Первым делом он меня спросил, как у меня дела с зубами, с очками. Пошел купил мне три пары очков. Отвел к дантисту. Вы припоминаете Советский Союз 1988 года? В дружбе он был человек необыкновенно трогательный, необыкновенно теплый.

Известия, — 2001. — 23 янв. — с. 12